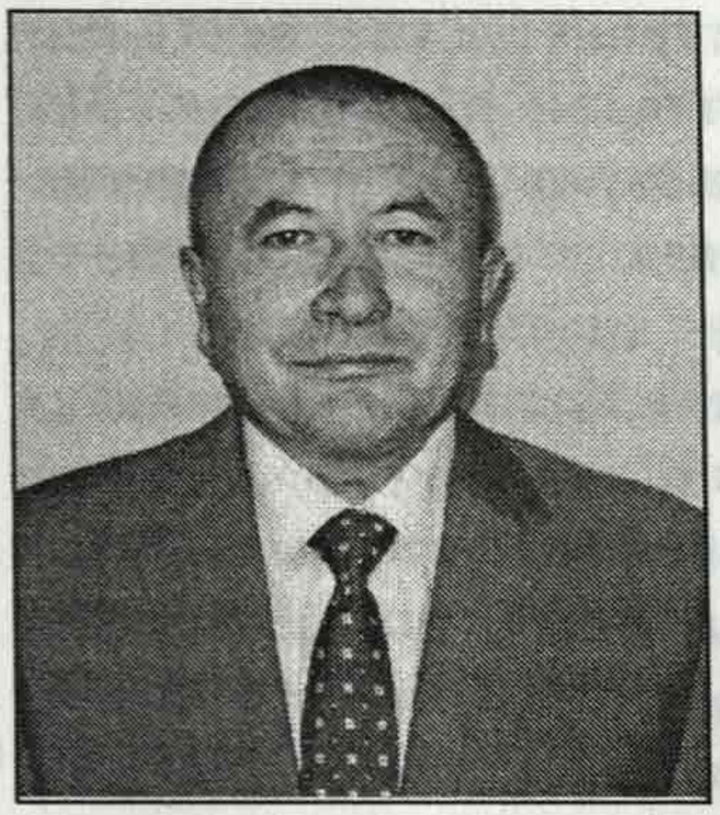

Константин Корсак

Родился в 1960 в селе Красный Яр Михайловского района Амурской области. В 1984 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, служил в Литве. В 1987–1989 находился в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где получил ранение. После вывода войск служил в Витебске. Имеет правительственные награды, среди которых два ордена Красной Звезды. В 1992 ушёл в запас в звании капитана, вернулся в Благовещенск, занялся предпринимательской деятельностью. Автор четырёх сборников стихов и одной книги рассказов. Член Союза писателей России. В 2013 избран председателем Амурской областной общественной писательской организации.

Два рассказа

Оторвановские истории

Долгими зимними вечерами я заслушивался рассказами деда. Ничто не отвлекало. Первый телевизионный сигнал будет пойман над Оторвановкой только года через три при помощи гигантской мухобойки, укреплённой на высоченном шесте. Ещё совсем новый приёмник «Рекорд» надоедал сообщениями о спутниках и надоях. А в неторопливом дедовском повествовании жила романтика дальних дорог, освоения новых земель и строительства совершенно новой жизни. Три года пути из крепостной России. Из *мира* — мира деревни — в *Мир*. Где каждый день — это путь. Всходит и заходит солнце, меняются времена года, умирают старики, рождаются дети и мерно скрипят подводы. Долгий сплав по бесконечной воде. Безлюдная, бескрайняя степь, в которой нужно нарезать себе землю… Землянки, избушки… Дома, завозни, амбары, церковь, школа… Американская техника — и почти американская свобода, со слегка пренебрежительным взглядом в сторону покинутой ими навсегда *Расеи.*

Потом я пошёл в школу, где мне объяснили, что жизни до революции не было, а было одно угнетение. Дальше — больше: выяснилось, что вся история происходила вдалеке от наших мест и творили её персонажи из лагерей угнетённых и угнетателей. Там Ленин, без бороды, но в парике, ловил Керенского, ряженного в дамское платье, и фанатичная Фаня Каплан, подслеповато щурясь, снаряжала магазин своего «браунинга».

А для нашего села Красный Яр и его окраин — Кукуя да Оторвановки — места в этой истории не было.

Нужно было увидеть в других странах историю без классового контекста, прочесть романы Яна, услышать про теорию рукопожатий Мигрэма — Трэвэла, по которой любые два жителя Земли знакомы через пятерых других, чтобы, раздвинув химеры официоза, увидеть Историю — и ужаснуться: я через одно рукопожатие общался с крепостным!!!

— Мы, ребятишки, сядем, бывало, возле деда Хромого на завалинку, — неторопливо вещал мой дед, — да и слушаем его во все уши.

— Да какой же он был дед? — прерывала его моя восьмидесятилетняя бабушка. — Ему маленько за пятьдесят и было-то тогда.

— Так он же с бородой был, как старик, не при работе… Это он на плоту ногу сломал, на сплаве. Так и не срослась… Крепостной? Ну, мальчонкой-то был он крепостным. Все до шестьдесят первого были.

— И в колхозе… до шестьдесят первого, поди, были, — ввернула бабушка.

— Ты, мать, не путай! Та-то крепость, поди, хуже колхоза была…

КАНУН

Первая мировая война началась неспроста, тому были разные причины меркантильного плана. Прежде могучая Россия крепко поиздержалась, пытаясь закидать шапками никому не ведомую Японию, и настало самое время переделить то, что поднакопилось за мирные годы в Европе и окрестностях. Русского царя бывшие враги уговорили выступить против кузена Вилли… С началом лета (зимой воевать несподручно) стали искать повод. Тут-то Гаврила Принцип и разрядил свой браунинг в эрцгерцога Фердинанда, убив его насмерть… Вот только в Оторвановке, да и в самом Красном Яре, равно как и в других дальневосточных сёлах, об этих подробностях пока не знали. Недосуг, знаете ли, — пора страдная.

…С чего началось?

Вначале залаял Абрек, потом всхрапнули, затопали лошади в распадке, и выяснилось вдруг, что чернота ночи уже подразбавилась жиденьким молочком предрассветья. Костюха сбросил с себя шубу, служившую ему одеялом, и, смахнув полотняный полог, закрывающий вход в землянку, метнулся к заветным кустикам по малой нужде.

Костюха, он же Костян, в свои одиннадцать был человеком серьёзным, поскольку в семье был почти за главного. Сестра Фёкла — дура дурой — вместе с другими оторвановскими девками дразнила его: «Костян-древян закатился под амбар». И задавака, каких свет не видел. Братья — Максим да Васька — сопляки ещё. Тятя — какой-то нерасторопный, во всём мать слушает. А та, хохлушка, всё себе помидоры растит да солит, окорока да сало коптит, арбузы, какие помельче, в кадках маринует. Зимой в погреб страшно залезть: того гляди каким бочонком придавит. А отцу всё наговаривает: ты туда не лезь, сюда не

лезь… Вот и зовут Костяна и его братьев не Михайловыми, как выходило бы по отцу, а Тимохиными — по деду. А двоюродного брата Петьку — Петрухиным, по отцу, Петру Тимофеевичу. Да и то, Петьке уже пятнадцать лет, и его ни одна девка не то что на Оторвановке, но и в самой деревне, и даже на Кукуе, не то что не осмеёт, так ещё и хихикают при нём, будто дуры, что бы он там ни сказал. А вот с его отцом, дядькой Петрухой, на заимке Костян, считай, на равных…

Тут от процесса осознания собственной значимости отрока отвлекло чуть заметное движение в светлеющей полуверсте, ближе к вершинке распадка. Там к рощице, охраняющей родничок, кто-то горбатый полуприсядью поднимался из волн тумана. Вслед ему минорно, по-утреннему, пели пичуги, серость утра подбивалась уже красным.

Дядька Петруха тоже выпростался из землянки, помахал лопатами своих ладоней, будто хотел согнать утреннюю одурь и с себя, и со всех окрестностей.

— Костюха, что там Абрек разгавкался, не волки ли?

— Не, там спиртонос в вершинку прошёл.

— За увал переходил?

— Так не видать отсюда, там, за кустами, мог и уйти.

Петруха покряхтел и почесал всё тело сразу, потом отдельно голову:

— Ты это, Костюха, на Воронке скоренько так обскачи лесок. Пока роса не обсохла, посмотри, ушёл или нет.

Дядька моргнул плутоватым глазом и пошёл кашеварить.

Воронок — отличный жеребец! В деревне нарасхват. Ни под косилку, ни под согребалку он, конечно, не ходок — не его это. Зато лететь над степью, чуть касаясь земли копытами в очумелом галопе, он мог, казалось, бесконечно. А про жеребят с гордостью говорят: от Воронка! Кабы не дядька, не было бы жеребца на заимке, не пластался бы он сквозь рассвет, шумно вдыхая его трепетными ноздрями да ёкая селезёнкой в такт размашистому галопу.

Тут вокруг всё было их фамильное — Вороново: и падь называлась Вороновой, и озеро, и заимка, и колодец, и жеребец Воронок. И теперь Костян, одной масти с жеребцом, той, что досталась парнишке от хохлушки матери, полоскал рубашонку утренним воздухом, широкой дугой огибая верхом фамильные владения…

Когда-то очень давно, полвека тому назад, из далёкого села Лиски, что где-то под Воронежем, пришли на Амур три брата Вороновых — Карп, Иван и… Абрам. Не одни шли, конечно, — миром. Целых три года на подводах с семьями и скарбом. Шилку и Амур сплавом на плотах прошли до Поярковской. И снова на подводы — и дальше, на вольные земли. А как отаборились, стали землю нарезать по сто десятин на семью — тут и оказалось, что вокруг ничего названного нет. И спросить, как что называется, не у кого. Речку, правда, казаки Завитой называли, так она Завитая и есть — завивает свои петли так, что где сядешь, там и слезешь. А уж пади, заимки — это всё теперь по семейным фамилиям названо: Кариха, Спицыха, Ворониха… Сразу видно, с кем деды шли на Амур, не забудешь. Но поначалу-то в семьях народу немного было, а сейчас

Вороновых — ого сколько! Абрам, правда, со своими в Ивановку уехал почти сразу, да Иванова сына Стефана в казаки сманили. А остальные Вороновы почти все тут. Так что приходится по именам да по прозвищам названия давать. Есть, скажем, на речке Бабачкина канавка. Чья она? Ха-ха, Бабачкины — это тоже Вороновы, и Яшкины, и Тимохины — Вороновы… Теперь уже среди Вороновых и Петрухины появились. Скоро, видно, и Мишкины, и Фёдоровы, и Филькины будут, а потом… потом — Костюхины. Или Костяновы… Вот как!

Сверху, с коня, Костяну хорошо было видно, как пускали густые клубы дыма не разгоревшиеся ещё костры на соседских заимках, будто подавали разрешающий сигнал нарождающемуся дню, и свет расцвечивал распадки цветочным ковром, обильно посыпанным бриллиантами росы.

Когда Костян вернулся к землянке, у Петра Тимофеевича шкворчало что-то в котле. Это что-то, чего он не добавлял разве что только в чай, называлось салом. Обжаренное с луком, оно околдовывало и манило ароматом, и даже верный пёс замер — не дыша, а будто вкушая.

— Что там? — подливая воду в котёл, спросил кашевар.

— Не выходил из леска, роса нетронутая. Устал, поди.

— А куда ему идти — вон уже все на ногах. Заднюет. Ты это, ладно, посмотри, я тут крупы заброшу да схожу…

Дядька нырнул в землянку и вышел со своей гордостью — ружьём десятого калибра, посмотрел на племянника, помялся и поставил свой мушкет у входа.

— Я, это, подумал, может, кто по дороге на закуску попадётся. Да ладно, пойду, смотри тут!

Пётр Тимофеевич пропал в растущей на неудобье полоске конопли: был — и нет его, даже макушки не закачались.

А день начинался, и не было конца делам: коней запрячь, косилку смазать тавотом, все болты на ней протянуть — за день и лошадки, и Костян с дядькой будут меняться, а косилке весь день работать. Чуть встанет — и нет больше никакой пользы, дед Тимоха опять просмеёт да бадиком будет, как в пацанёнка, тыкать. Нет уж, не в одиннадцать же лет на такой позор идти. Вот вернётся дядька, кулешу поедим — и вперёд! Только конские хвосты, гоняющие паутов, треск механизмов — да пахучее разнотравье, переплетённое вязелём, падающее под ленту… А завтра — в деревню на Воронке: бабы, ребятишки приедут стога метать — накосили много, что-то уже в валках. Эх, дождя бы не было!..

Тут мысли о празднике стогометания прервал дядька Петруха, возникший вдруг за спиной с двумя банчками ханжи, изрисованными красными драконами.

— Вот, купил. Давай подхарчимся да за дело.

И дело пошло. Косилка стрекотала, а перед мысленным взором мелькали уже сарафаны, смех переливался по луговине колокольчиком, накрывался артельный обед с малосольными огурцами, варёными яйцами, курятиной, да ещё, по-взрослому, глоток беленькой плеснут, ребятне на зависть… Эх, завтра или, поди, послезавтра… Что может быть веселее покоса? Рождество? Да ну!

Тут раздолье, это не в избе в тесноте зимой толкотиться. За день так напластаешься да с ребятнёй так набесишься, что вечером, после купания, и байками не успеешь перебросить, как сон тебя по нарам до последней косточки растащит-расплющит. А в рассветную рань прохлада сама выгонит в парную воду озера распугать зазевавшихся ротанов да пацанят, которым не лень ни свет ни заря торчать в кочках с удочками, вместо того чтобы вытащить мордуши с рыбой. А потом он на согребалке, запряжённой норовистой Козюлькой, делает ровные валки, и какие там слепни да пауты? Все девки тут смотрят на него с восхищением — вон он как ловко управляется с машиной, не то что ребятишки, сдвигающие брёвнышком валки в копны…

Быстро, как мечты, пролетел день. Смеркалось. Из сгущающихся сумерек стали появляться соседские мужики, заранее предупреждённые о застолье Петром Тимофеевичем, — ближние пешком, кто подальше — на конях. В большом котле побулькивала косулятина — чья-то доля в складчине. Около костра затевалась возня, прерываемая покряхтываниями да потираниями ладоней, и, как только комары окончательно изгнали дневных кровососов, все расселись вокруг большого стола, который будто плыл в жёлтых сполохах костра по белёсым клубам дымокура, — так казалось Костяну, когда он возвращался от озера, раздав овёс коням. Конь — он на траве не работник, и подкармливать его нужно заранее, хотя бы за месяц до серьёзной работы. А то толку не будет. Как про таких «хозяв», которые овса давали только во время пахоты, говаривал дед Тимоха: «На охоту ехать — собак кормить! Смотри, — говорил он внуку, — бабка вон квашню сегодня заводит, а стряпать-то завтра собралась». Да и человека, если только в страду кормить, то он и зиму не переживёт. Так размышлял парень, следуя на запах мясного варева.

Там гоготала вовсю раскрасневшаяся ватага мордатых, как на подбор, мужиков. Поводом для веселья был скорый приезд подмоги на уборку сена — бабы с ребятнёй вот-вот должны были взбудоражить бирючный покосный быт. Костяна, с подачи дядьки Петрухи, принялись нахваливать и плеснули в кружку немного зелья. А разговор враз ушёл на хозяйство: видно, про баб уже наговорились.

— И на что тебе эта сноповязка «Маккормик» — отцовых тебе мало? — спросили из отдающей красным темноты Петра Тимофеевича, продолжая прерванный разговор. — Или деньги девать некуда?

— А тебе что — простухой или лобогрейкой жать сподручней? Дава-ай!.. Вон Филипп серпом снопы наворачивал скорей, чем на простушке погонщик да две девки на другой полосе.

— Я-то могу, — поддакнул крепкий и подвижный, будто с шилом в заду, мужик.

— А до дождя всё одно не успели, как ты ни егозился, — осадил Филиппа его брат Фёдор.

— Так без тебя народу совсем мало было!

— Вот-вот! А у Яшкиных на «Маккормике» — всего один погонщик, много народа не надо, — гнул своё Пётр Тимофеевич. — Мотауз не путается, снопы потом в прицепную машина сама рычагом сбрасывает, а там мальчонка их

отвезёт — да в суслон… А отцовы машины — они и есть отцовы. Мне ложка к обеду хороша, да отец и сам за столом, — подытожил он.

— Да кабы не деньги, оно, конечно, куда там!..

— А что — деньги? Ты на работников, на прокорм да расплату сколько пудиков уханькаешь? Да непогода из-за нерасторопности своё отнимет. А тут, знай, семьёй управишься. Я вот и молотилку себе куплю.

— За тыщу-то?

— А что? Я с вас эту тыщу за год соберу.

— А где ты её у нас найдёшь?

— Сами принесёте! Буду дешевле Москвина брать да круглые сутки молотить.

— Этот будет. Хват! — похвалили мужики дядьку Петруху.

— Да землицы побольше под новые машины арендую у казака. За два, а не за три пуда с десятины сговорюсь, — не унимался тот. — Да ещё машин прикуплю, да землицы арендую…

— Что ж тебе — казачина дешевить будет?

— А я всю залежь его махом заберу, да как соберу пару урожаев пшенички, а потом как засажу овсом — и соберу пудов по триста с десятины…

— Загибаешь ты, брат, — забурчал Фёдор.

— После пшеницы — мо-о-жет! — протянули из темноты.

— Ага… Кони от одного овса лопнут…

— Сдам я его вовремя, цену возьму!

— Будет тебе плести, уже всю казачью землю языком засеял, — осадил Филька бахвала. — Вон мужички-то с Расеи в Хомяки приехали, так деревянной козюлькой пашут…

— Ха-ха-ха!

— А урожай в карманы соберут и без «Маккормика», да там, в карманах, и обмолотят без твоей, Петруха, помощи. Заодно и себе что надо почешут! — лихо завернул Филька.

— Ха-ха-ха!

— А Лысого сын-то — слыхали? На этой сохе клин вытащит — и спит. А батька его, совсем тёмный, крестиком не может подписаться, двум чушкам еду не поделит, возьмётся себе пахать — а не выходит. Вот тебе и сеять уже не надо!

— Сами-то подзабыли, что наши деды попервах на быках деревянным оралом пахали! Хлебнули мурцовки! А за «самолётом»-то сами, поди, походили — стопором никому зубы не выбило?

— Да что ты, Петруха, за старое? Забудь. Вон, сейчас на седельном и мальцу пахать можно, лишь бы наверх самому залезть, а стопор — автомат!

— Одно слово — Америка!

— А в Ивановке, слыхали, трактор — такой вроде паровоза — купили, по три плуга тащит сам. На зиму в завозню его — и овса не надо…

— Зимой им молотилку вертеть можно.

— А в Расее, говорят, у каждого клочок в треть десятины, куда там им эти плуги ставить…

Костерок поддувал купол небесной сферы, обильно припорошённый звёздными блёстками, голоса сливались в ватно-обволакивающее «бу-бу-бу».

Потом где-то, удаляясь, пели: «Галка, галка, чёрная полянка, что ж ты не ночуешь дома…» Галка, видимо, была тоже чёрной, потому что она заслонила собой и звёзды, и огонёк костра, и бубнящий сквозь вату хор. Потом тёмные волны сна унесли — и всё несли, несли куда-то, где вдалеке, а затем всё ближе, гоготали гуси. Когда гомон стал совсем нестерпимым, Костюха открыл глаза и обнаружил светлую полоску неба над пологом. Снаружи громко разговаривали. Похоже, никто ещё не расходился.

— Ну ладно, мне ещё полсвета оповестить надо, хорошо хоть вы тут гуртом собрались, — услышал Костюха голос Петрухи-младшего и, выглянув из землянки, увидел двоюродного брата, отъезжавшего поперёк рассвета верхом на Горбоносом. «Какого лешего его понесло на этом жеребце разъезжать? — возникла мысль. — Коняка-то он здоровый, чёрта загрузи — увезёт, да вот ход у него чумной какой-то, всю душу вытрясет…»

Мужикам было не до Костюхи — обсуждали:

— Не пойму — с кем война-то?

— С германцем!

— Как же с германцем, когда их царь нашей царице брат сродный?

— Да так уж, видно, теперь — брат на брата.

— А что это Петруха сказанул, будто нас будут в рекруты набирать?

— На то и сход. Сам, говорил он, на селе слышал — будут.

— Так мы же от рекрутчины свободны, в японскую-то никого не брали.

— Это Александр нас освобождал, потому и звали его Освободитель. А этот — Николай! Кровавый — он и есть кровавый. Чего хорошего от такого ждать: корабли все потопил, в Порт-Артур заместо снарядов иконы возил, а потом по Расее голодранцы смутьянили года два, чтоб не работать. А он всё Думы собирал да думал.

— Слыхал я, его в Японии бусурман по голове саблей плюхнул. Может, с того он и кровавый и столько думает?

— Кровавый — не с того. На коронации он голытьбе городской стал пироги раздавать, а они по ходу друг друга до смерти передавили.

— А потому и стал, поди, пирогами бросаться, что басурман ему этот, чи самурай, ладно по головушке приложил.

— Да там, Филька, в городе народу тьма-тьмущая, и все без дела шлындают, одни приказчики по лавкам сидят, торгуют. Вон, в Хабаровске был, идут и идут люди по улице — а куда? В церковь или из церкви — не поймёшь… Брось им калачей — и впрямь передавятся.

Мужики натянуто посмеивались.

— Эх, паря, возьмутся они теперь за нас, жизни не дадут.

— Это уж как пить дать…

— Японца всё шапками забрасывали, теперь на германца точно не хватит.

— Ты, Федька, если забирать тебя будут, шапку заместо себя отдай, — подначил родственника неугомонный Филька. — Себе купишь потом. Летом шапка ни к чему, а Расею, глядишь, и спасёшь.

— Как ты так — про такое… как тебе…

— Да так вот. На одних — шапок не хватило, и других без твоей не осилим...

— Хорош! — резюмировал Петруха на правах хозяина. — Айда за стол! День коту под хвост… К полудню — на сход, а теперь помянём по случаю нашу добрую жизнь.

Содержимым ведёрных банчков можно было опоить и два десятка приблудных пьяниц, и в артельном котле было много вчерашнего варева, однако водку дуром не хлебали — не приветствовалось. В селе старики молодым мужикам и в кабак-то не позволяли заходить. Но тут дело серьёзное: была жизнь мирная да задумки разные, и вот тебе — пшик! — и нет её.

Начиналась Первая мировая война.

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ...

Яркое невысокое солнце смотрело прямо в глаза, замазывая и без того безликую картину заснеженной степи. Мерная рысь конишки да скрип полозьев навевали думы. Много дум. Вот отвёз Костюха матушку в больницу в Михайловку, там её оставили: сказал доктор, что дома не выходить. Непростая поездка. Тут же совсем недавно такого понаворотилось — ввек не разгресть. Сначала в Михайловке отца материного, деда Грищенка, по глупому навету расстреляли как главного коммуниста, а через пару дней краснояровские распартизанились — да в отместку попа с учителем в Михайловке порешили. Вот и вези хворую матушку к доктору, когда те двое у доктора близкими товарищами были, — уморит ведь. А куда денешься — совсем матушке худо…

В коридоре больнички, когда услышали имя и фамилию пациентки, затихли. Даже арсентьевская хохлушка враз умолкла, прекратив трансляцию слухов, и выпростала ухо из-под цветастого платка. А когда матушку завели в кабинет, все уставились на закрывшуюся за ней дверь и, чуть подавшись вперёд, стали вслушиваться… Так через много лет, начиная с рокового сорок первого, гипнотизировали взглядом рупоры и чёрные тарелки…

— Плохи наши дела, — через некоторое время молвил в струной натянутую тишину невидимый за дверью доктор. — И ваши, уважаемая Алёна Степановна, и мои, слуги вашего покорного.

— Помру, значит?

— Лёгкие у вас воспалились — тут и так, и так быть может. Однако если вы помереть соизволите, то меня краснояровские непременно убьют, равно как и батюшку, и учителя нашего.

— Так вперёд тятю моего убили!

— Да разве ж батюшка с учителем это сделали?

— Так и ваших не я убивала. И там, и там люди глупые. Только как же тятю… прямо из церкви-то... Он же пел там.

— Да уж пел, уважаемая Алёна Степановна! А уж что пел — и говорить не стану!

— Про Бога пел…

— И про матушку Его пел, богохульничал… Про Всемирный потоп, бывало, расскажет несведущим, а потом возьмёт да и спросит: а на ком, мол, Сим, Хам и Афет в Ханаанских землях женились, если потоп был всемирный? Смутит православных да и потешается.

— Так все про это смеются. Бог — он Бог, а поп — он поп.

— Ну не в церкви же смеяться?

— А из церкви забирать? — Всегда ровный и очень бархатный голос матушки умягчал стерильную тишину коридора.

— Да не в церкви, а в кабаке уже его Иван Кузьмин милиции по нетрезвому делу сдал.

— У Усова в кабаке, поди, у отца учителева? А казаки разве не знали, кто у нас в селе партизаны?

— А казаки ваш Красный Яр от греха подальше объезжают. За что ж их у вас так недолюбливают?

— Как за что? С японцем спутались. С жиру бесятся, а земля пустует. Они с границы сыты — ни один спиртонос без их ведома не пройдёт, ни один коробейник своё не протащит, крестьян стали на границе обирать. А наши эту землю у них арендуют, три пуда с десятины отдай, хоть тебе потоп, хоть и засуха — вынь да положь хозяину. Земель-то у них казённых сколько, а нам ни покоса, ни пашни не хватает уже.

— За японцев и мужики зажиточные на съезде в Песчаноозёрке голосовали, а у вас-то, чай, тоже — десятин сто на семью, не меньше?

— Так растут детки, а десятинки-то не растут… — Про съезд матушка смолчала, неловко говорить, что муж её, Михаил Тимофеевич, в нём на потеху селу участвовал.

— Оставлю я вас, Алёна Степановна, тут под присмотром, от греха подальше, а то из интеллигенции в Михайловке я да писарь волостной остались. Жаль нас терять, — горько шутил врач.

Матушка с доктором разговаривали совсем негромко, но такая бездыханная тишина стояла в больничке, что, оживи вдруг какая муха — враз оглушила бы всех. А слова, выскальзывавшие из-за двери, на лету расхватывались слушателями, чтобы разлететься по деревням душераздирающими слухами. Вот времена-то…

Вот времена-то, размышлял Костюха. За всю германскую войну в деревне только один парнишка, Мишка Лашкевич, не своей смертью помер — убили. По мальчишеской глупости погиб. Землю в селе за хорошие деньги арендовал потешный улыбчивый китаец по прозвищу Лапошка. Растил себе мак, девок деревенских нанимал за посевами ходить. Всем удобный был человек. Но однажды регулярно навещавший Лапошку хунхуз Латуза застрелил его. Мужики пустились за разбойником в погоню. Мишка, давненько присмотревшийся к браунингу бандита, вырвался вперёд с желанием завладеть игрушкой. За что

и поплатился: хунхуз пистолет носил не для красоты. Убивали Латузу долго — он спрятался за конём, которого поранить было никак нельзя. Коня спасли, — правда, у хунхуза, кроме бесполезных браунинга с пустым магазином и посудины с маковой смолой, оказались и денежки — на сколько-то там лошадок. Такая вот история. Да конокрада одного ещё застрелили, но это не в счёт. Мужики, правда, не все с германской пришли, но тут только про кого слух пойдёт, будто погиб, а он — на тебе, на порог. Пойди разбери, кто в плену, а кто, может быть, ещё добирается домой по Расее-матушке.

А тут — завертело: пришли японцы и давай хозяйничать, казаки с ними заодно, солдаты появились, как при царе (только завшивленные), неразбериха кругом. Тут и повадился в Красный Яр приезжать Мухин, мужик городской с трубочкой, сперва тайком по заимкам, а потом прямо в селе заагитировал молодёжь партизанить. А те и рады удалью тряхнуть, не навоевались, поди. Да и силушку дома приложить особо некуда: сеять меньше стали, амбары полны зерна, а не продашь — деньги не в цене. Менять же хлебушко на шут-те что — упаси Господь. Зима на дворе, не на печи же сидеть. А тот Мухин посулил землицу лишнюю у казаков в пользу крестьян отрезать, японцев прогнать, власть-порядок установить и с деньгами разобраться. А мужикам только дай перед бабами с винтовкой покрасоваться, те же их, орлов, на войне не видели. Старики — не против: не след зерно в амбарах гноить, на тот год новое поспеет, а за старое ничего не получено. Ну и собрали роту. Мухин как раз съезд у Москвиных в избе затеял. Ванька Черемисин, Васька Артемьев, Митька Кузьмин — все сорвиголовы Мухина на съезде охраняли, а у Ганьки Воронова, начальника штаба партизанского отряда, брат Иван как на грех решил жениться, Лашкевич, заместитель командира, заседал в избе на том съезде — весь штаб в делах был. Вот и пошла эта рота под единоличным командованием Петьки Воронина по деревням — народу подрекрутировать. А тут на беду деда Степана Грищенкова (деда Костюхи) в Михайловке расстреляли колчаки какие-то. И казачишки там при них были, не вступились, и михайловские промолчали, что никакой он не партизан и не лазутчик. Вылазил он в Михайловку к каждой церковной службе. А где петь-то иначе? Бабушка Костюхина сильно бурдела, когда он пел в кабаке, вернее, когда, пропустив там пяток «полкрышечек»*, приходил домой. Всё пеняла: «Вон из-за ваших «полкрышечек» Яков Иванович под кручу угодил, а пройти ему надо было до дома саженей полтораста. Неделю из дома ободранный не показывался, а он-то мужчина ви-и-дный… не то что… Да и лицо — одна бородища, и то исцарапался». Да, не повезло тогда старику Якову Иванычу, тому, от которого одна линия Вороновых Яшкиными стала. А покойный дед Степан любил церковь, а Михайловскую особенно. Потому что там после службы можно было славно поговорить с людьми в винном подвальчике у учительского отца, потом промяться до Хомяков, где так приятно, особенно в трескучий морозец, навестить товарища. А затем, к вечеру, явиться приставшим домой, прилечь и запросто отказываться от приглашений «попеть вечерком в кабаке»…

---

* Полкрышечка — мера объёма водки в кабаке.

Вот и отомстил Петька Воронин михайловским, не особо разбираясь, что да как. Кого виноватым посчитал, тех и порешил, а покойников в зарод бросил да спалил. Каялся потом, будто батюшку за Степана Грищенкова наказал, за то что в церкви человека схватили, а учителя — за отца его, за винный погреб, через который тот трудовой народ спаивал. Нашёлся ещё пристав — наказывать. Навалил кучу — ни разгрести, ни обойти. В селе сейчас, поди, разбираются не на шутку, уж больно осерчали и Лашкевич, и Ганька, и Ванька Черемисин за эту партизанщину…

За думками Костюха и не заметил, как доехал до пади Жучихи, а когда поднялся на Хомяковский бугор, ошалел — из-за леска навстречу ему тянулась бесконечная вереница верховых и саней.

— А вот и Костян Тимохин, — сказал Ивану Черемисину подъехавший на кауром жеребце Ганька Воронов. — А что, товарищ помощник командира, возьмём с собой парня? А то, как землицу начнём делить, ему стыдно станет — не воевал, мол, за неё.

— Берём, комиссар, — рявкнул Иван. — Пристраивайся в обоз!

«Кажется, меня спросили, согласен ли я», — подумал Костюха, поджидая своё место в ордере.

Вниз по Жучихе скатилась группа Черемисина сопровождать до города подпольщика Мухина. А партизанская рота «Красный орёл» двинула, обрастая верховыми и подводами, за железнодорожную линию. К ночи вытянувшаяся в длинную нить колонна втиснулась в игольное ушко под мостом через речку Завитинку и растворилась в тайге. Таёжный поход начался.

Обоз — дело для зимы привычное, сколько уж раз приходилось ходить на дальние прииски: живая копейка в пору зимнего безделья никому лишней не была. Вот и теперь отдыхающие от сельской страды ребята ехали на работу, за которую обещали оплатить землицей. Кочевали. В деревню заехали — сход, тут не тюли-мули, люди вооружённые. Где победнее — Савелий Лашкевич на крыльцо, давай про тяжкую долю, где побогаче — там Ганька про светлое будущее. Главное в первоочередных задачах — японца прогнать да самим заправлять судьбой. Вот и подсаживались в сани пешие, пристраивались конные, и рос обоз. Только было вышли на свою сторону через линию, как познались с вражиной. В Кутилово митинг не успели устроить, как дозорные переполошились. Обоз на зады отогнали, а стрелки побежали к околице. Беспорядочная разноголосая стрельба подняла стаи ворон и слилась с заливистым лаем деревенских псов. Ветер подхватил новые звуки, завертел и понёс вместе с позёмкой в поля… Стали подходить раненые.

— Что там такое?

— Японец прёт, головы поднять не даёт, подлец.

— Давит, зараза, много их там, не сдюжим…

Пальба будто и вправду стала приближаться, обозники беспокойно вглядывались в дальний конец улицы, готовые ко всему. Потом стрельбы будто добавилось, прокричали «ура», затихли. Какофония боя рассыпалась на отдель-

ные узнаваемые выстрелы: гулко и громко — бердановская винтовка, коротко и жёстко — трёхлинейка, раскатисто — дробовики, и сухо щёлкают винтовки супостата. Двое притащили раненого командира Петьку Воронина и уложили его на сани лицом вниз — пуля тому пришлась в мягкое место.

— Как там ребята?

— Ничего! Черемисин со своими орлами вовремя поспел. Отогнали косоглазых от саней, ждём, пока замёрзнут.

— Скоро замёрзнут-то?

— Не знаю, больно дохи у них толстые — лежат, как тюки, и околевать не собираются.

Стрельба сошла на нет. Стали подходить стрелки, жители высыпали на улицу. Подносили трофеи, разговаривали, будто глухие, махали руками и перекрикивали друг друга.

— Нет, ты видел, как я, а?!

— Как мы их? Я р-раз на мушку, бац…

— Нет, ты послушай…

— Вот, она какая, «арисака»-то, посмотри…

— А нож-то, нож — чисто шашка будет.

— Он кабана колоть хорош.

Несли варёную картошку, сало, соленья, наливали чарку, кони хрумкали овёс из подвешенных торб. Убитые в первом бою рядком лежали в снегу на обочине…

— Станови-ись! — Комиссар Ганька Воронов привстал в стременах, дождался тишины и торжественно произнёс: — С настоящего времени нашим командиром будет Иван Черемисин. В бою вы его увидели, так что в походе не подкачает. Прошу любить и жаловать.

Переждав столь же громогласное, сколько и нестройное «ура», командир Черемисин подвинул своего коня чуть вперёд.

— Товарищи красные партизаны!..

И снова санный поезд в пути. От деревни к деревне, от ночёвки к ночёвке, по тайге, но недалеко от линии, кругами, но всё к западу, к Зее. На заимке одной, какого-то Виноградова, Ванька Черемисин хотел азиатов в ловушку заманить — не вышло. Кто-то бабахнул раньше времени, спугнул, те и не залезли в мешок, отошли, собаки, да ещё и часть своих убитых утащили с шубами, винтовками, патронами. Ребят зря положили. Могли же всех япошек поморозить до одного и пол-отряда обмундировать-вооружить. И виноватых не найдёшь: лазутчиков подозревали — да откуда они? С перепугу кто-то бабахнул, не иначе. Больше, конечно, виноватых искали те, кому шиш из трофеев перепал. Кабы по умыслу в лощину всех положили, так ни один не ушёл бы. А, что там уже…

Дальше — больше: под Чудиновкой сами чуть было под японские пушки не попали. Но тут, слава Богу, опять Черемисин отличился, Ванька, — да какой он теперь, к лешему, Ванька, теперь он товарищ командир, весь в ремнях и

револьверах. Зашёл с ребятами к японцам сзади — да пушки эти и заграбастал. Худо-бедно, где через пень, а где через колоду, стали из тех орудий по их старым хозяевам понужать. Пока пушек не было, «я, паря, артиллерист!» — все фронтовики говорили, кто из винтовки не попадал. А как до дела, так у одной пушки до конца боя замок пешнёй пытались открыть. Кабы оно из всех пушек палить, — может, столько япошек не убежало бы, а то они и раненых своих повытаскивали. Одних убитых побросали. Хотя, с другой стороны, трофей какой-никакой оставили. Особенно хорош нож от «Арисаки» — сталь на заточку цепкая и пружинистая. Шкуру им, конечно, несподручно снимать, но кабана или даже годовалого бычка завалить — запросто. Шубы у япошек хорошие. Интересно: народ они вроде из тёплого края, а солдат у них одет, как якут какой-нибудь. Колчак же своих сибиряков в шинелишки нарядил, будто про морозы слыхом не слыхивал или назло поморозить хотел мужичьё. Тут кто конишкой, японцами брошенным, разжился, а командиры себе сабли офицерские брали. Но главное — винтовки и патроны.

Партизанское войско росло, да так, что уже краснояровские стали теряться в этой людской махине. Отряды были из разных мест. Говорили, будто семьсот саней теперь в обозе, только кто же их считал. Не всякая деревенька могла теперь принять на постой — могли запросто враз и провизию, и фураж схарчить.

К марту пришли на реку Томь. Чугунка — вон она, рядышком. В Павловке снова случился большой бой с японцами, долгий, какой-то вязкий. Ни место, ни расклад не сулили большого успеха. Бились, будто стенка на стенку. Село вроде бы удержали и врага отогнали, но уж больно много мёрзлой земли пришлось выдолбить под могилы. Опустевшие сани покинули обоз, а те, чьи седоки могли воевать, ушли в тайгу, чтобы через десяток дней всей мощью обрушиться на узловую станцию Бочкарёво и с ходу взять её…

Ночь выдалась беспокойная. Хозяин накормил пёс знает чем — за одним столом с ним сидели, но до ветру Костюха с Петькой Мордвинкиным носились без него. А утром пришлось ехать — подошедшее по железной дороге подкрепление вышибло партизан из Бочкарёва, как пробку из бутылки. Теперь уже не про трофеи думать — своё унести бы. Отошли вёрст на десять. Погони не было.

В небе стрекотала пара аэропланов. Лешацкого вида мужик с кудлатой бородой вскинул было винтовку.

— Ты что, Евсей, с ума сбрендил? Он на тебя сейчас бомбу бросит, приметит тебя, паразита такого, и как пить дать бросит.

— Да сшибу я его враз, видишь: башка из ераплана торчит.

— Не попадёшь. Ты когда чирушку влёт бьёшь, куда целишься?

— Так в голову…

Мужиков затрясло от хохота.

— Не бил он чирка влёт…

— За огородами на лимане, поди, соседовых уток стрелял.

— Из черенка целился да вилами бил.

— Этот аэроплан, Евсей, вдвое быстрей той утки летит.

— Куда там! Вон же, ползёт едва, — не поверил Евсей.

— Большой он и далеко, потому и кажется — потихоньку. Это что, это «ньюпоришка» какой-то. Вот у нас на германской «Муромцы» были — тот по небу будто пешком идёт, а не всякий аэроплан за ним угонится.

— Почто так-то?

— Здоровенный он, десять человек, а то и пятнадцать, запросто возит.

— И сидят они на крыле, как куры на насесте?

— Нет, паря, хлевушок там такой прогонистый промеж крыльев, там и сидят, а спереди окошко, чтобы лётчик смотрел, куда лететь.

— Американский, поди?

— Да нет, наш. И летает поболе ста вёрст за час.

— Как же так? — вцепился в свою бороду Евсей. — В Расее сохой пашут, ничего сделать не могут, самую распоганую машину, да что там, цинк на крышу у американца берём! А ты говоришь — аэроплан такой с целой избушкой с окошками построили. Или брешешь ты, или я чего не понимаю…

— Становись!!!

Вдоль колонны ехали командир с комиссаром.

— Мужики! — закричал Черемисин. — Домой идём! Растолкуй им, Гаврил Епифанович, что да как.

— На данный момент нам важно вернуться домой и заняться крестьянским трудом. Тайно, конечно, подпольно. Но урожай вырастить надо, а то мы всю тайгу объедим на следующую зиму, если ещё летом её со своими конями не обглодаем. Её пока пролетариат покараулит, а нам лемеха точить надо.

Колонна радостно загудела.

— Обоз, — продолжил комиссар, — выдвигается на восток по подводе или парами под видом мирных крестьян. Верховые пойдут отрядом попозже…

— Когда — попозже? — закричали нетерпеливые.

— Скажут.

В бездне весеннего неба неторопливо плыли белые облака. Так, верно, и «Муромец» плывёт. Вот бы в его сараюшку вместе с конём да санями. Так, пожалуй, часа за два и до дома добрался бы. А тут знай себе мотай вёрсты рысцой да шажком. А интересно, хлевушок на том аэроплане из плетня или дощатый? И про ворота бы у знающего спросить. Может, и впрямь когда по небу летать будем. А без коня оно что, баловство одно…

— Костюха, — подошёл к саням комиссар Ганька Воронов, он же Яшкин, — ты как домой приедешь, Татьяна моя придёт к вам за солью. Ты тихонько, чтобы никто не заметил, подскажи ей, пусть к вечеру баню затопит.

— Скажу, если придёт... — Парень сильно сомневался, что у Яшкиных может закончиться соль.

— Придёт.

Снова перед глазами мотается конский хвост, скрипят сани. В голубой бездне, лениво обгоняя их, плывут облака. Плывут в гнилой угол, где копятся всю

зиму, чтобы всё лето приходить оттуда дождями. Подует летом такой из того угла ветер, — значит, пришло время океану долг дождём отдавать. А уж вовремя — не вовремя отдача придёт, океан тот никого не спросит. А кто приметлив, тот и на пашню, и на покос выйдет вовремя, будто сговорился с ним…

Долга дорога домой. Пройдёшься, где не подтаяло, да и опять в сани, и думки, думки без конца. Сколько за эту зиму Костян насмотрелся — за всю жизнь столько не видел. Станешь рассказывать — не поверят! Уж про «Илью Муромца», что полсемьи по небу за час может в город донести, — и подавно. Аэропланов-то, поди, никто из ребят не видел. А в город можно, в конце концов, и без коня полететь. Там пролётку нанять, какие малые гостинцы — с собой на аэроплан набрать, а что большое — с ломовым отправить.

В ночи мерцал огонёк. Товарищ по обозу Петька, вызвавшийся быть поводырём, поднапутал, и мелкодырчатая попона безлунной ночи свалилась на них в пути. Огонёк в окне ближе к утру взбодрил. Подъехали, вошли в дом. Хозяин, как и они, вернулся из обоза — японцев возил. Обиходили коней, сели пить чай. Картошка, сало, стопка — разомлели. Хозяин всё расспрашивает, что оно да как, кивает и легенде поддакивает. А когда отчаёвничали, и говорит:

— Собирайтесь-ка вы, хлопцы, да вперёд через линию. С вашей сказкой японцы и полчаса разбираться не будут — вместе с моей хатой спалят. Под мост не ехайте — подскажу, где тайком перемахнуть…

Как прибавил день! Перед рассветом только переехали линию, а ещё засветло уже были дома. Сначала заехал к деду поздоровкаться. В большом доме не протолкнуться — ребятишки прибежали с улицы и хороводились под ногами, раскрасневшиеся молодухи сновали у печи, источающей ни с чем не сравнимый домашний дух. Переполох начался несусветный. Где-то в его пылу возникла Ганькина жена Татьяна с плошкой, мимоходом подставила ухо под Костюхин шёпот, перебрехнулась по углам и пропала, будто её и не было…

Поход закончился. Делу время. Весна не ждёт, погода не шутит.

Погожим вешним днём — день год кормит — находящийся на излечении в глубоком подполье красный партизан Пётр Воронин (бывший командир отряда, тот самый, кто в Михайловке в своё время порешил попа и учителя) хлебал на собственной кухне наваристые щи. В дверь постучали, сами и отворили, а одна из двух усатых казачьих рож спросила:

— А не ты ли это Петька, красный бандит?

— Нет, не я это. Я — Аверьян, — прочавкало из-за большой деревянной ложки.

— Значит, в горнице красный партизан укрылся? — спросил любопытный, и казаки пошли туда. Мужик, не обтерев ложки, выскочил в открытое окно, и ветер свободы понёс его вниз через огород, под кручу. Однако далеко не унёс — в кочкарнике у старого русла речки гости нагнали улепётывавшего хозяина. Эх, паря, сказалось, поди, ранение в зад, полученное во время недолгого командования отрядом, да и окошком слишком громко брякнул, выпрыгивая.

— Пойдём теперь к старосте, пусть скажет нам, какой ты такой Аверьян…

И ведут. На гору, мимо церкви и школы. Тут и дом старосты Филитова недалеко. Он мужичонка, конечно, неплохой, скорее никакой — выбрали безродного, чтобы, если что, никому не обидно. Только зачем ему в Петьке Аверьяна признавать? Казачки сзади коней в поводу ведут, а карабинишки наперевес Петьке в спину тычут… Пошли через Мордвинкин проулок, и только шагов полсотни сделали, как саданул залп из огородов, кони взвились, Петровы конвоиры вспорхнули на них и растворились в клубах пыли от греха подальше.

Из огородов вышли партизаны. Они, воевавшие всю зиму бок о бок с пролетариатом и познавшие слова его ненависти, стали сетовать герою дня на нарушение конспирации. Ведь до выхода из подполья предполагалось заготовить сено и убрать урожай…

Село переменилось: появились группы людей с винтовками, проскакал весь в ремнях Черемисин, Ганька Воронов появился в гимнастёрке и фуражке со звездой. Гонцы помчались по заимкам. Пересуды поползли по дворам:

— Ловко казачков проучили!

— А может, их пострелять надо было? Да сказать, будто и не было.

— Искать бы стали, доискались…

— А пусть бы они Петра забрали, да и леший с ним, невелика потеря. А стрелять его, поди бы, не стали…

— Да кто знает…

— Могли бы и прошляпить разъезд партизане.

— Тогда уже и казаки могли стороной объехать.

— А им какая печаль?

— Какая? Бой будет — убьют кого-то.

— Так здесь не убьют. В другое место пошлют.

— И то…

Склонялись к тому, что Пётр мог и в бане щей похлебать, а не в хате рассиживаться. Да и собак ему следовало бы хороших держать.

До позднего вечера на улицах и за высокими заборами усадеб что-то происходило. Где-то строили планы командиры, в другом месте прятали добро да угоняли скот на заимку, а где-то ещё плакали, предчувствуя скорую разлуку с мужиком и конём. Пыль, поднятая множеством ног и копыт, не опускаясь, тревогой висела в неподвижном густом вечернем воздухе.

Весной светает рано, но на самом пороге рассвета в вершинке Ломовой пади, там, где розовеющее небо обнимало чернеющий горб увала, чётко обозначились силуэты всадников. Ранние птахи пропели оду восходу, и верховые стали стекать в низину. Казачьи сотни сомкнутым строем пересекали линию горизонта. Сколько там вёрст до горизонта? Сколько шагов делает конь в мгновение? Сколько ударов успеет сделать сердце?

— Огонь! — Залп не в упор, щадящий — слишком много знакомцев с обеих сторон. Засада, укрывшаяся у опушки леса, там, где Ломова падь упирается в пригорок и скатывается к югу, ощетинилась огнём. Казаки рассыпались веером, крутнулись и растворились в складках местности. Двое отчаянных партизан с истошным «ура-а-а!» и винтовками наперевес устремились в преследование, но в трескотне перестрелки как-то буднично попадали в траву. Стреляли

теперь не только здесь — ближе к селу под пули попала поехавшая ранее казачья разведка. Вскоре стали доноситься выстрелы издалека, там встречали наступление казаков со стороны хутора Кавказ. Взошло небесное светило. Начинался жаркий весенний день.

К полудню стрельба утихла. Стало понятно, что казаки не будут брать село штурмом. Все немного успокоились, и любопытные бросились допрашивать очевидцев.

— Я как сдану из цендралки, так конь под ним кубырем, — живописал событие Васька Куцылый, молодой оболтус, любивший прихвастнуть.

— А у тебя патроны, поди, с дробью были, спросил кто-то.

— А чё, без дроби, что ли? — попался на удочку герой. Причину смеха он не понял. Ружья дома не было, и пулю от дроби он отличать не был обязан.

— Ну, дальше давай!

— Сидим мы, это, в окопе (окопано село было от пожаров, да чтоб скотина не лезла в посевы), а тут эта разведка, трое…

— Погоди, паря, ты уже под одним конишку подстрелил…

— Ага, конь кубырем, казачишка с него кубырем…

— А ты в его…

— Не, я в карман за патроном, а те двое крутнулись, этого хвать под микитки и упорхнули, как ласточки!

— Так ты отчего больше не воюешь — казаки закончились?

— Да нет, патроны. А старики там до сих перестреливаются..

Тут прошёл слух, что казака в плен захватили. Пересуды по этому поводу отвлекли народ от героя кавказского направления. Домысливали всякое, благо вскоре появился очевидец.

— Скажи, Липат, как там наши орлы пленника захватили?

— Ага, уж и орлы. Старики приладили к телеге черешок с портянкой да и поехали промеж казаков, будто сдаваться. Те на них как на старых дурней смотрят, а они заманили к телеге Карманова да и повязали его.

— Это какого же Карманова?

— Да вроде младшего ихнего.

— И куда теперь его?

— Меня забыли спросить. Караулят, как полагается быть!

— Ты смотри, что деды творят!

— На ходу портянки рвут…

Стрельба постепенно сошла на нет. Привезли убитых.

— Кого убили?

— Ваньки Черемисина брата.

— Илюху?

— А кого же

— А другой кто?

— Этот… Красные штаны…

— А звали-то его как?..

Повисла тишина…

— Да так и звали, как он с отрядом прибился, так его все и звали — Красные штаны.

— А может, партизаны знают…

— И они так его кликали.

Бесконечный весенний день шёл своим чередом. Кто-то распорядился копать могилы. Положенные дни ждать недосуг — всё вокруг дышит неопределённостью, что-то там ещё будет завтра? Быстро выросли золотисто-красные кучи мягкого песка, комиссар складно сказал что-то по-своему, грохнул нестройный залп, и вот уже готовы два свежих холмика. На одном дощечка с надписью «Черемисин И.», на другом — «Неизвестный». Утром ещё живые были орлы — и вот… Земля вам пухом. Что там насчёт царствия небесного — непонятно: без креста хороненные. Правда, Ганька, когда свою комиссарскую молитву читал, кажется, что-то обещал.

Отпустили допрошенного казака. Отдали ему карабин без патронов и, подумав, шашку, а то атаман замордует. Тот поехал тихонько, ровненько, как по струнке, и гимнастёрка на его спине трепетала от несуществующего ветра. Только за своротком рванул в галоп. Ванька Черемисин смотрит в землю и носком сапога разбрасывает в стороны дорожную пыль, вздувшиеся желваки готовы порвать кожу на его лице.

— Хватит, Иван, всё правильно… — похлопал его по плечу Гаврил. — Так надо. Давай оповещать. Сам оповещай — кому ни попадя не поверят. Давай — ты на Оторвановку, а я на Кукуй…

Костюха, хоть только сегодня приехал с заимки, был уже в курсе всех событий. Но, заслышав у ворот голос командира, подбежал послушать.

— Вот видишь, дядь Миша, как оно всё вышло,— говорил Иван Черемисин Костюхиному отцу. — И твоя долька в том есть, понесло тебя на этот съезд в Песчаноозёрку — японцев звать. От кого они тебя защищают? От Ганьки Воронова? Так Яшкины втрое, а то и впятеро богаче вашего, ярицу, поди, в разголодный год не мололи. Спалят вот село, как Ивановку, эти косоглазые твои… Как в глаза погорельцам смотреть будешь? Куда поедешь-то?

— Так в Ивановку, к Абрамовым… Их не сожгли.

— И ты туда, Костюха? — заметил парня Черемисин.

— Нет, я — заимку стеречь.

— Стереги, по пороше заберём с собой. — Он попытался изобразить улыбку на полумёртвом лице, сморщился, как от зубной боли, и нервно пришпорил жеребца.

— Японцы, мать иху, — пробормотал растерянно отец. — Черти их несут. Карателя с пушками. Казак сказал.

— Какой казак?

— Да Карманов, которого сегодня в плен брали. Проклята тварь.

— Кто тут кого проклял, а, Мишка? — в открытые ворота вошёл дед Костюхи —Тимофей Карпович. — Тикай давай от своих япошек, а я тут Оторвановку покараулю. У тебя поживу.

— Ты что, тятя, — промямлил Мишка, — порешат нехристи.

— Не твоя забота! Не пожгли бы нажитое. Ему, косоглазому, что тот — Воронов, что этот…

Стемнело. Смолкли гомон, тележный скрип и мычание коров. Чёрные коробы домов слились с ночью. Жидкий собачий лай таял в звёздном небе, накрывшем мёртвое село. Дед Тимоха, задумчиво бродивший по улице, тяжко вздохнул от увиденного и, отворив маленькую калитку сбоку от ворот, зашёл во двор. Спать. Утро вечера мудренее.

За ночь небо затянуло. С утра заморосило, пелена хмари отрезала Оторвановку от села. Из привычных звуков утра доносились только истошные вопли петухов, даже утренние птахи не стали сегодня петь. Тимофей Карпович степенно прошёл вдоль домов, выстроенных для младших сыновей: этот Федькин, Фёдоров, значит, этот Мишкин, а тот, чуть поодаль, Филькин. Будут братья рядом жить, и сынам своим дома тут вдоль ярка поставят, или за ярком на рёлке — там местечко ай да люли! Если, конечно, эти после пожара отстраивать не придётся. Где же этот бесов супостат? С ранья без завтрака жду. Печь надо затопить да хоть сала с яичком нажарить, а то помру с голода, и нажитое спасать будет некому.

Пушки ухнули ближе к полудню, снаряды с воем пролетели над селом и забухали где-то на Кукуе. Стало понятно, с какой стороны хмари придут японцы, и вскоре топот копыт возвестил о нашествии, вглубь села галопом проскакала разведка, чуть погодя передовой отряд заполонил улицу. Хлопнула калитка, скрипнула входная дверь, и на пороге объявился Ванька Стефанов. Фамилия его, конечно, тоже была Воронов, но их род величали так по деду — так же, как Яшкиных и Бабачкиных.

— Здорово, Тимофей Карпович! — чуть стушевавшись, рявкнул вошедший. Он явно не ожидал увидеть в Мишкином доме деда.

— И тебе здорово, Иван. Никак в гости?

— В гости! Развели тут партизанщину голодраную, людей стреляете.

— Мы к вам в станицу пока не приезжали бедокурить, вы сами напали.

— Служба у нас такая, бандитов и голодранцев ловить.

— Это не Ганька ли Яшкин с Черемисиным Ванькой голодранцы? Не тебе, свистуну, чета.

— Я вот как Яшкиным избу подпалю, да и тебе тоже!

— Посмотрим, кто из ваших Ганьке красного петуха пустит. Где потом прятаться будет?

— Ты, дед, говори, да не заговаривайся!

— А какого мне лешего заговариваться? Вот попрошу Стефана, чтобы выпорол тебя как сидорову козу. Не будешь на стариков лаяться!

Ванька скрипнул зубами на всю избу, выхватил шашку и рубанул наотмашь большую двустворчатую дверь, ведущую в залу. Длинная тонкая щепа громко щёлкнула о пол, казак крутнулся и пулей вылетел прочь. Дед Тимоха вышел следом. Из Фёдорова дома казаки тащили какие-то узлы и вязали их к сёдлам. Маленький и узкоплечий, похожий на мартышку, японский офицер,

сверкая очками, резко и коротко взвизгивал и брызгал слюной. Переводчик, перечисляя всех известных ему плохих животных, пытался остановить безобразие, но только после залпа в воздух из сотни «арисак» мародёры обратили на него внимание. В ответ на стрельбу зашумели на горе, и дед Тимоха, повернув туда голову, увидел, как загорелся дом Филиппа. Из ворот выскочил незнакомый казак.

— Кто это такой, а? – закричал дед, ухватив кого-то за стремя. Тот в ответ только выпучил бесстыжие шары и выхватил шашку. Тут невесть откуда взявшийся Ванька прихватил за руку лиходея и, что-то рявкнув, ткнул ему кулачищем в ухо. Тимофей Карпович, сторонясь людей, пошёл в сторону села к своему дому. Второй раз за день ему, старику, грозили шашкой… Тестя в Михайловке расстреляли. Как это расстреляли? Он что — конокрад? Куда катимся, скоро совсем никого чтить не будут, раз на стариков руку поднимают.

Дом Тимофея Карповича не подожгли, хоть и поживились, чем было. Опередившие деда японцы длинными штыками пытались остановить грабежи. Несколько домов горело, однако дом Яшкиных, громоздящийся посередине села на самом взгорке, никто не тронул.

Партизанский отряд, находившийся в это время на другой окраине села — на Кукуе, тайком спустился по канаве к речке и, перемахнув её, двинул на север.

Всё лето партизаны не появлялись в селе, хотя молва о них наполняла жителей гордостью. Казаки тоже не появлялись более — да и кого они могли застать в самые страдные дни года на месте? Костюхе доставалось за всех: с тех пор как его отец отделился от деда, главным пахарем в их семье стал он, Костюха. Батя на удивление ловко умел затеять покос прямо перед затяжными дождями или отсеяться аккурат перед засухой. Поэтому его оставляли рассуждать дома, от греха подальше. А сыновьям лето — одна бесконечная заимка. Там братья всё подшучивали над Костюхой.

— Когда тебя опять в партизаны заберут? Замордовал уже нас, несчастных!

— Сам, говоришь, Ванька Черемисин заберёт?

— Вот, глядишь, в зиму ртом меньше станет.

Он отбрехивался, но осени ждал, думал всё: успеет ли обмолотить? Лето-то задалось урожайное. Однако осенью случились два события, из-за которых парень не попал в свой отряд. Во-первых, японцев прогнали из области, во-вторых, Костюха захворал воспалением лёгких. Теперь уже не мать, а он лежал в Михайловской больнице, а Машка Яшкина (племянница Ганьки-комиссара) за ним приглядывала. Бойкая и проворная, она за время его болезни разнюхала в волости всё.

Оказывается, теперь вместо партизан будет Красная Армия, а набирает туда военком. Казаки тоже стали красными, как партизаны. Из станицы Поярковской вместо сожжённого Филиппова дома привезли сруб-пятистенок, а зингеровскую машинку, которую у них украли, тоже нашли, но без каких-то нужных лапок, без которых и верложить нельзя.

Больной только дивился происходящему, да и вниманию, ему оказываемому. А пришла ему пора выписываться, Машка объявила, что, видимо, убежит за него замуж, несмотря на его полухохляцкое происхождение. Курить ему теперь совершенно было нельзя — так сказал доктор, подмасленный гусём и четвертью самогона. В таком случае он обещал ещё лет десять жизни, а там видно будет. К военкому, тоже подмазанному гусём и четвертью, следовало идти немедленно, чтобы тот, не успев съесть и выдуть свою долю, записал героя, застудившего лёгкие в таёжном походе, в части особого назначения.

Домой поехали уже с винтовкой. Костюха, записанный военкомом в чоновцы, всю дорогу шмурыгал затвором выданного ему манлихеровского карабинишки.

— Вот, — говорила будущая жена, — повесишь дома да будешь делом заниматься, а то удумали чёрт те куда посылать. Японцев прогнали, с казаками замирились, а дома дел невпроворот.

Недели две ещё ездил новоиспечённый чоновец в волость на сборы, а потом их отряд отправили на задание. В Егорьевке, деревушке неподалёку, не всю призывную молодёжь забрали, велено было призывных найти и доставить. А кого доставлять-то, когда встретившие их старики-«мугулёвцы», облачённые в домотканые рубища, твердили одно про своих «мальцов»:

— Понадели портки да и убёгли у дубки.

Переселенцы из Могилёвской губернии, не успевшие ещё прижиться, вкусить плодов свободного труда, так робко и укоризненно глядели в душу верховым, одетым в полушубки бойцам, что командир молча крутнул своего жеребца и махнул всем следовать за ним. Домой.

Как-то, уже глубокой зимой, поехал Костюха к военкому патронов попросить — волки, мол, шалить стали, а на прошлую операцию им за ненадобностью и не давали. По правде сказать, дела ему до тех волков особо не было, а вот на косулю карабин куда сподручней цендралки. Военком отбрехался, что нет у него таких, к «манлихеру». Нашёл у мужиков, да не задаром — много не напасёшься. За зиму все и попалил. Так к весне и сдал за ненадобностью своё оружие. От греха подальше.

Закончилась Гражданская...

Правда, дружок Аким, забранный в Красную Армию, вернулся только в двадцать третьем и много рассказывал о Волочаевке, Приморье, о чирьях, одолевавших его в боях (рубцы от которых с годами стали шрамами от шрапнели), о разных подвигах… Однако Костюха к тому времени был уже женат, слушал его вполуха и точно помнил тот день, когда незнакомый ему помощник военкома долго копался в бумагах, пытаясь списать его «манлихерку», а потом ругнулся и сказал, что и так знает, у кого принял.

Тогда-то она и закончилась.